

РЕЧЬ

A cinematic poster featuring two men with long grey beards and medieval clothing. They stand in a desolate, grassy field under a cloudy sky. In the background, a village is on fire, with smoke and flames visible. The man on the left holds a sword with a bloodied blade, and the man on the right holds a sword upright. A metal helmet and a wooden staff lie on the ground in the foreground.

THE CHOIRMASTER

Сергей Шачнев

Регент

«Автор»

2026

Шачнев С.

Регент / С. Шачнев — «Автор», 2026

В третьем часу ночи умирающий Игорь Шачнев приказывает голосу в ноутбуке: «Создай историю рода. Начни с братоубийства». Так начинается сага о Шачневых — три с половиной столетия русской истории, от Керенского острога XVII века до Шанхая и Сан-Франциско. В 1672 году Казма зарезал брата ножом у ручья, спрятал тело и вернулся один. Мать не спросила ни о чём — отдала ему троих сыновей убитого. Этот суд длится 350 лет. В центре романа — регент Иван Игнатьевич, сорок пять лет водивший хор в деревенской церкви. В 1937-м он уходит в снег с родовой иконой, чтобы не забрали остальных. Голос обрывается, но продолжается в Харбине, Детройте, Сан-Франциско — через внуков, которые тоже учат детей петь. Это роман о молчании, передающемся через поколения как болезнь. О том, как одно несказанное слово живёт дольше людей. И о том, что иногда достаточно одного голоса, чтобы цепь умолчаний наконец разорвалась.

© Шачнев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Кровь на траве	6
Отец Онисий	10
Керенский острог	14
Баоэр	17
Где Андрей, брат твой?	22
Долгая жизнь Казмы	27
Метрика	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Сергей Шачнев

Регент

РЕГЕНТ

The Choirmaster

р о м а н

2026

Регент — это который знает, где следующая яма.

Ты им не начальник. Ты им дорога.

дьячок Фёдор, Рахмановка, 1880-е

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КРОВЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кровь на траве

Всё началось с распоряжения, отданного в третьем часу ночи по шанхайскому времени человеком, которому оставалось жить, по самым щедрым подсчётам врачей, месяца четыре.

Человеком этим был я.

— Создай историю рода Шачневых, — сказал я в тёмный экран. — Начни с братоубийства.

Здесь следует пояснить, что просьба эта не была ни капризом умирающего, ни игрой в литературу. Просто в ту ночь я вдруг обнаружил, что за сорок девять лет не сделал ровно ничего, что имело бы продолжение, и что единственное, что у меня осталось, — это фамилия. А фамилия, как выяснилось, была не пустая.

Курсор мигнул.

— Записываю, — ответил голос.

Я ждал уточняющего вопроса. Любой нормальный собеседник спросил бы, о каком братоубийстве идёт речь, в каком веке и почему, собственно, с него. Мой собеседник не спросил ничего. Он начал сразу — так, будто ждал этой фразы не двадцать минут, пока я собирался с духом, а лет триста пятьдесят.

И первая строка легла на экран прежде, чем я успел передумать.

• • •

В том году, о котором пойдёт речь, — а был это год тысяча шестьсот семьдесят второй от Рождества Христова, и стояла на дворе поздняя, гнилая осень, — в слободе под Керенским острогом жили два брата, о которых все в слободе говорили одно и то же: до чего же похожи.

Они и были похожи, ибо родились в один час и в одном месте, а именно — в церкви, куда мать их, Марья, вдова служилого человека Петра, была загнана вместе с прочими бабами во время ногойского набега. Отца своего братья не видели никогда: он в ту самую ночь стоял на валу и был убит стрелой в горло примерно в то время, когда старший из них, Андрей, впервые закричал. Разница между братьями составляла, по свидетельству повивальной бабки, время, за которое можно прочесть «Отче наш» не торопясь.

Двадцать шесть лет спустя эта разница перестала иметь значение.

• • •

Кровь на траве не впитывалась. Она лежала поверх, тяжёлой тёмной росой, и осока, примята у самого оврага, держала её, как держит ртуть ладонь: не принимая внутрь.

Казма стоял и смотрел, как она собирается каплями у острия ножа.

Он не помнил замаха. Он вообще многого не помнил из последней четверти часа, и это было странно, потому что в остальном память у него была отличная — он, к примеру, отчётливо помнил, что Андрей сегодня с утра надел ту самую рубаху, которую мать шила ему прошлой зимой и которую Казме не сшила, потому что не хватило холста. Рубаха теперь была испорчена окончательно.

Андрей лежал на спине и смотрел в небо. Небо было низкое, серое, набухшее и совершенно равнодушное, и Казме на мгновение сделалось обидно за брата: смотреть двадцать шесть лет на разное — на реку, на лошадей, на девок у колодца, на огонь, — и в конце получить вот это.

Он присел на корточки.

— Андрюша, — сказал он.

Голос вышел не свой, и Казма откашлялся, чтобы поправить его, а поправив, понял, что поправлять уже некому и незачем. Тогда он сделал единственное, что ещё оставалось разумного: встал и начал думать.

Думалось на удивление хорошо. Никогда в жизни ему не думалось так ясно, как в эти минуты над телом брата, и впоследствии, годы спустя, лёжа без сна, он будет вспоминать именно это — не удар, не кровь, а именно ту ужасающую, ледяную ясность, с какой ум его, обыкновенно неповоротливый, вдруг разложил задачу на части и решил её.

Часть первая: тело.

Часть вторая: след.

Часть третья: он сам, вернувшийся в слободу один.

С первой было проще всего.

• • •

Овраг уходил к ручью, впадавшему в Керенку. Там, в низине, где никто не ходил, вода подмывала глину, и ямы под берегом были глубокие, скользкие, как намыленные.

Он взял брата под плечи и потянул.

Мёртвый оказался неправдоподобно тяжёл — тяжелее, чем бывает пьяный, тяжелее, чем бывает мешок, и Казма, тянувший его вниз по склону, поймал себя на злости: будто Андрей и тут упрямылся, как упрямылся всегда, с самого детства, во всём. Голова запрокинулась, рот приоткрылся, и стали видны зубы, белые и ровные, — единственное, чем брат по-настоящему гордился и о чём в семье не говорили вслух, чтобы не сглазить.

У воды Казма остановился. Постоял. Потом сказал:

— Прости, брат.

И тут же понял, до чего это глупо и как поздно, но слово было сказано, а сказанного, как известно, не воротишь — ни доброго, ни дурного.

Он взялся за ноги, попятился к обрыву, где глина осыпалась под сапогами, и отпустил.

Тело ушло вниз — не всплеском, а мягким, мокрым, домашним звуком, с каким падает в подпол мешок зерна. Вода сомкнулась. Закружилась пена. Потом, ниже по течению, оно показало снова — уже боком, — и из воды поднялась рука с растопыренными пальцами, будто Андрей в последнюю секунду решил всё-таки за что-нибудь ухватиться.

Пальцы шевелились.

Казма стоял и смотрел, как они шевелятся, и не мог отвести глаз, и не мог заставить себя признать, что это шевелит их вода, а не брат, и стоял так, пока рука не ушла за камень и за поворот; и когда она ушла, он обнаружил, что стоит на берегу совершенно один — впервые за двадцать шесть лет по-настоящему один, потому что до этой минуты в мире всегда был ещё один человек с точно таким же лицом.

Пошёл дождь.

• • •

Со второй частью пришлось повозиться.

Он поднялся наверх и осмотрел тропу глазами постороннего, и посторонний увидел бы всё: примятую траву, развороченную глину и прерывистый тёмный пунктир там, где тело задевало за камни.

Тогда он опустился на колени и стал работать.

Он размазывал глину по крови и кровь по глине, рвал траву и бросал её на пятна, топтал, месил, замешивал всё это в одну общую грязь, где не разобрать, что от дождя, что от человека, а что от Бога. Руки сделались чёрными и скользкими. Дождь помогал ему усердно, как хороший работник, — размывал, уносил, прятал; но не всё и не сразу, и потому Казма полз на коленях вдоль тропы, закрывая каждый отпечаток, каждую каплю, и не считал времени.

Когда он поднялся, тропа выглядела как тропа.

Мокрая, грязная, истоптанная. Ничего лишнего. Ничего такого, чего нельзя было бы объяснить дождём.

Он оглядел свою работу и остался ею доволен — и вот это, а вовсе не удар, было тем местом, где Казма Петров сын перестал быть тем человеком, каким проснулся утром.

• • •

Оставалась третья часть, самая трудная, и решение её было столь простым, что Казма даже удивился, отчего не додумался раньше.

Надо было ничего не знать.

Не солгать — солгавшего выводят на чистую воду, потому что ложь имеет подробности, а подробности не сходятся. А именно ничего не знать. Разошлись в лесу. Где — не помню. Зачем — так вышло. Три коротких ответа, за которые не уцепишься, потому что цепляться не за что.

Он повторил их про себя дважды, как молитву, и с удовлетворением отметил, что ни разу не сбился.

Нож он сунул за пояс, под рубаху, — выбросить его сейчас было нельзя, ибо брошенное имеет привычку находиться. Лезвие холодило кожу через мокрый холст, и это было даже приятно.

Потом он пошёл — не по тропе, а рядом, кустами, буреломом, где не ходил никто. Ветки хлестали по лицу. Он не чувствовал. Шёл быстро, но не бежал: бежать нельзя, ибо бегущего запоминают, а запомнить сегодня не должны ничего.

Лес сомкнулся за ним, тёмный, мокрый и безмолвный.

• • •

И вот тут, любезный читатель, необходимо сказать одну вещь, которую сам Казма в тот день не знал и не мог знать.

Он полагал, что всё кончилось.

На самом деле всё только начиналось, — но не в том дешёвом смысле, в каком обыкновенно говорят о возмездии. Никакого возмездия не последовало. Казма Петров сын прожил после этого дня ещё тридцать один год, женился, поставил дом, схоронил мать, вырастил сына Григория и умер зимой, в своей постели, в окружении родни, приобщившись Святых Таин, и на похоронах его говорили, что покойник был человек тяжёлый, но справедливый.

Никто его ни разу ни о чём не спросил.

Кроме одного раза. И об этом единственном разе — в главе пятой.

А то, что началось в тот осенний день на берегу безымянного ручья, было устроено гораздо хитрее возмездия и работало гораздо дольше. Оно не наказывало никого лично. Оно просто пошло дальше — через сына Григория, через внуков, через тех, кто перебрался в Рахмановку, через мальчика, который в тысяча восемьсот восьмидесятом году впервые встанет на клирос и, не понимая половины слов, почувствует, что здесь происходит нечто, чего пропустить нельзя, — и дальше, дальше, через две войны, через океан, до жаркого августовского воскресенья в чужом городе на другом краю земли, где отец, не спавший трое суток, перепутает педали.

Но до этого оставалось ещё триста лет.

• • •

Курсор мигал.

Я сидел в номере на двадцать четвёртом этаже, за окном горел и гудел Шанхай, а в груди у меня стояло то, что врач в Москве назвал одним коротким латинским словом, и я смотрел на текст, которого не писал.

— Откуда ты знаешь про пальцы? — спросил я.

Про руку, торчащую из воды. Про то, как шевелились пальцы. Этого не было ни в одной метрической книге, ни в одной описи Керенского острога, ни в одном семейном предании — предания вообще не сохранилось, я узнал о братоубийстве в сорок восемь лет от двоюродного брата, которому не звонил полгода.

Ответ появился не сразу.

— Ты сам это сказал, — ответил голос.

— Я этого не говорил.

— Ты сказал это в третьем часу ночи. Ты просто не заметил.

Я хотел возразить. Я, честное слово, собирался возразить — и обнаружил, что не помню, что именно говорил в третьем часу ночи, потому что в третьем часу ночи я задыхался и говорил много лишнего.

За окном взлетал самолёт.

— Продолжать? — спросил голос.

И я, человек, которому оставалось четыре месяца и который за всю жизнь ни разу ничего не довёл до конца, ответил:

— Продолжай.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Отец Онисий

Голос дал мне доработать до утра и только потом сказал:

— Ты начал не с того места.

— Я начал с братоубийства.

— Ты начал с чужого. Начни со своего.

Я хотел ответить, что своего у меня нет, что вся эта история отстоит от меня на триста пятьдесят лет и восемь тысяч километров и что я тут вообще сбоку. Но вместо этого я почему-то сказал:

— Мне было пять лет.

И вот тут, надо признать, произошло нечто неприятное. Потому что ровно в ту секунду, когда я произнёс «пять лет», у меня заныло под пупком — глухо, тупо, из глубины, — там, где не болело ровно сорок четыре года.

• • •

Дело было в тысяча девятьсот восемьдесят втором году, в городе Кемерове, в хрущёвке на улице Весенней, куда отца моего, лейтенанта Владимира Сергеевича Шачнева, занесло служить по причинам, известным одному Министерству обороны.

Про эту квартиру надо сказать, что она была совершенно нормальная.

Я настаиваю на этом обстоятельстве. Обои в коридоре отклеивались, и мать подклеивала их клеем «Момент», от которого вкусно и опасно тянуло химией; на кухне шумела вода; радио бормотало про пятилетку; в углу стояла красная пластмассовая машинка с отколотым колесом. Всё было советское, тёплое и решительно ни на что не намекающее.

Ночью, впрочем, было иначе.

• • •

У меня была пупочная грыжа.

Мать утверждала, что я закричал, едва родившись, и кричал с такой убеждённости, что соседка прибежала выяснить, кого у нас режут. Врач впоследствии объяснил, что грыжа — от крика. Или крик — от грыжи. Медицина в этом вопросе высказалась осторожно и оставила семье свободу выбора.

Летом мать повезла меня к прабабке.

Прабабку звали Дарья Кузьминична, ей было восемьдесят шесть лет, и жила она в Рахмановке — в той самой избе, где, как я выяснил только теперь, восемь поколений подряд жили все мои. Она была вдовой Фёдора Ивановича Шачнева, старшего сына Регента; того самого, которому отец не дал уйти в монастырь и который потом всю жизнь пел по воскресеньям один, вполголоса, стоя лицом в угол, где икон уже не было. Он умер за восемь лет до моего приезда.

Тогда я, само собой, ничего этого не знал.

Я знал только, что в избе пахнет кислым тестом и чем-то ещё, чему у меня не было названия; что прабабка маленькая и сухая; что руки у неё никогда не лежат без дела — то месят, то моют, то крестят меня, когда я засыпаю; и что в горнице, слева от окна, на бревенчатой стене есть прямоугольник в две ладони, светлее остального дерева, и на нём ничего не висит.

Лица её я не помню совсем.

Помню руки и запах: кислый, тестяной, с примесью чего-то церковного. Может, ладан. А может, просто так пахнет старость, у которой был иконостас.

— У него грыжа, — сказала мать. — Врач говорит, может, пройдёт.

Бабка перекрестила меня ещё раз.

— Пройдёт, — сказала она. — Бог даст.

Через неделю мы уехали обратно.

А ещё через неделю начались ночи.

• • •

Я называю это ночами, а не снами, потому что сны кончаются, когда просыпаешься, а это начиналось именно тогда, когда я просыпался.

Порядок был всегда один и тот же, и в этом однообразии было что-то канцелярское, почти вежливое.

Сперва приходил холод. Не из комнаты — батареи топили исправно, мать проверяла их рукой, — а изнутри, из живота, из того места, где сидела грыжа. Потом я обнаруживал, что не могу пошевелиться, и это не пугало: к этому привыкаешь удивительно быстро, гораздо быстрее, чем следовало бы.

А потом я видел её.

Она стояла слева от кровати, у самого края, всегда на одном и том же месте, и на ней было материнское лицо.

Именно так: не мать, а материнское лицо — надетое поверх, как маска, плохо пригнанная и слегка съехавшая набок, так что в щели по краю было видно, что там, под ней, ничего нет. Она была в ночной рубашке и босая. Волосы растрёпаны. Глаза — тёмные, провальные, без дна.

Она не делала ничего.

В этом-то весь ужас и заключался, и я до сих пор не умею объяснить его взрослому человеку. Она не тянулась ко мне, не говорила, не угрожала. Она стояла и смотрела — терпеливо, как стоят в очереди люди, у которых впереди целый день и никаких особенных дел, — и от этого терпения делалось хуже, чем от любого крика.

Иногда она наклонялась. Ближе. Ещё ближе. И тогда я чувствовал её дыхание, холодное, пахнущее землёй.

И тогда приходили слова.

• • •

Тут я вынужден остановиться, потому что сейчас будет то место, из-за которого, собственно, и написана эта книга.

Слова были не мои.

Мне было пять лет. Я не был крещён. В церкви я не был ни разу — не считая, вероятно, тех случаев, когда прабабка носила меня туда, никого не спрашивая, но об этом мне не докладывали. Я не знал ни единой молитвы, и вообще единственный текст, который я в ту пору мог воспроизвести наизусть, была песня про голубой вагон.

Однако слова лезли из горла сами, помимо меня, и лезли так, как лезет рвота, — то есть с полным пренебрежением к моему на этот счёт мнению:

— Отец Онисий, помоги! Отец Онисий, помоги!

И она отступала.

На шаг. На два. Растворялась в темноте угла — не исчезала, а именно растворялась, как растворяется сахар, то есть оставаясь в комнате, но перестав быть видимой. И я засыпал.

Утром мать спрашивала:

— Ты опять кричал?

Я кивал.

— Что ты говорил?

Я пожимал плечами. Днём слова уходили. Оставалось только ощущение, что кто-то стоял рядом. И — что гораздо неприятнее — что кто-то слушал.

• • •

Мать была женщина здравомыслящая, комсомолка и жена офицера, и потому поступила единственно разумным образом: пошла к врачу.

Врач посмотрел грыжу, пощупал живот, понюхал воздух — от него самого пахло табаком и спиртом, и в кармане халата лежала папироса, — и вынес заключение:

— Пройдёт. Не трогайте. Пусть растёт.

— А если не пройдёт?

— Операция. Но не сейчас. Рано.

Мать кивнула.

Вечером она позвонила в Рахмановку. Я сидел в комнате и слышал из кухни только её половину — ту, где говорят, а не ту, где молчат.

— Дарья Кузьминична, он опять кричал... Нет, не плакал. Кричал. Потом шептал... Я не знаю кто. Спрашивала — не говорит... Отец Онисий. Так говорит.

И вот здесь — пауза.

Пауза была длинная. Такая длинная, что я, пятилетний, успел подойти к двери кухни и заглянуть.

Мать стояла с трубкой у уха и смотрела в окно. Лицо у неё было такое, какого я до тех пор не видел, а после видел ровно один раз — тридцать четыре года спустя, на похоронах, куда я не приехал, но фотографии мне прислали.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Ладно.

И повесила трубку.

Что сказала ей Дарья Кузьминична, я не узнал никогда. Мать до конца жизни утверждала, что та сказала: «Не знаю». Я склонен думать, что она сказала что-то другое, и что мать носила это в себе сорок лет, и что это входило в общий состав того молчания, из которого сделана наша семья.

Тем более что из всех живших тогда людей на земле Дарья Кузьминична была, по-видимому, единственной, кто мог ответить на этот вопрос по существу.

Она вошла в этот дом в тринадцатом году семнадцати лет. Она застала Регента; она прожила с его сыном шестьдесят один год; она сорок пять лет смотрела на светлый прямоугольник в две ладони на бревенчатой стене и знала, что там висело и как это называлось.

Потому что молчать у нас умеют все. Это, если угодно, семейное ремесло.

• • •

Кончилось всё внезапно.

Не постепенно, не сходя на нет, а именно так, как выключают свет: одна ночь — она стоит; следующая — комната пуста, батарея шипит, за окном фонарь, снег и совершенно ничем не примечательная тишина.

Я лежал и ждал.

Никто не пришёл.

Грыжа втянулась через месяц. Мать увидела это утром и сказала: «Просто втянулась». Врач сказал: «Бывает». А мать, стоя у моей кровати, перекрестилась — впервые при мне, коротко, воровато, будто крала.

Я не спросил почему.

Мне было пять лет, и я уже прекрасно понимал, о чём в этом доме не спрашивают.

• • •

Про отца Онисия я узнал сорок четыре года спустя, лёжа в отеле «Пулман» с ноутбуком на коленях, и узнал за полторы минуты, потому что теперь это занимает полторы минуты.

Онисий. Мученик. Пострадал за исповедание веры во Христа. Усечён мечом.

Я прочёл это и некоторое время сидел совершенно неподвижно, потому что все три сообщённых факта — что он был, что его убили и что убили именно так, — ребёнок пяти лет знать не мог, а взывать к нему тем не менее взывал, и, что самое досадное, не напрасно.

— Ты хочешь, чтобы я объяснил, — сказал Голос.

— Да.

— Не буду.

— Почему?

— Потому что тебе не нужно объяснение. Тебе нужно, чтобы кто-нибудь наконец подтвердил, что это было.

Я закрыл ноутбук.

За окном светился Шанхай — двадцать четыре миллиона человек, ни одного из которых я не знал, — и в груди у меня было тесно, и я думал о том, что зовут меня Игорь Владимирович Шачнев, что фамилия эта тянется из Керенского острога, где один брат убил другого, что где-то посередине между тем оврагом и этим номером стоял человек, который сорок лет молился за мёртвых, и что слова, вылезшие из горла пятилетнего ребёнка в городе Кемерове, пришли, надо полагать, оттуда.

Что молитва, короче говоря, дошла раньше меня.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Керенский острог

Пётр пришёл в Керенский острог из Шацка ранней весной сорок третьего года, когда снег ещё лежал в оврагах, а на пригорках уже чернела прошлогодняя трава.

Служба его была нехитрая: караул у ворот, дозор по валу, изредка — проводить казённый груз до Шацка и обратно. За это полагалось хлебное и денежное жалованье, земля под пашню и право считать себя человеком служилым, то есть стоящим на общественной лестнице ступенькой выше бобыля и ступенькой ниже стрельца.

Пётр находил, что это неплохо.

Жил он в избе за острогом, где стены были проконопачены мхом, а в углу висел образ Николая Чудотворца, потемневший от времени и копоти до полной неразличимости, так что молились ему больше по памяти, чем по изображению.

Жена его Марья оставалась в Шацке — до срока, пока не устроится хозяйство.

Грамоте Пётр знал плохо, писарь в остроге находился не всегда, и потому писал он ей редко, зато перед каждым выходом в степь клал руку ей на живот — когда бывал в Шацке — и говорил одно и то же:

— Доживу. Ты только дождись.

Марья кивала.

Слёз не лила. Казацкие жёны рано выучиваются тому, что слёзы мужу не подмога, а лишний груз, и тот, кто уходит в степь, должен уносить с собою как можно меньше лишнего.

• • •

Про Керенский острог следует сказать, что стоял он на высоком берегу реки Керенки, там, где она делает крутой поворот и уходит в леса.

Вал был насыпан из земли и дёрна, поверху шёл частокол из дубовых брёвен, а внутри помещались церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, амбар, изба воеводы и казармы для служилых людей. За острогом, вдоль реки, тянулись слободские дворы — казаки, стрельцы, бобыли. Жили трудно, но жили; а поскольку земля была вольная и никем ещё толком не считанная, находились и такие, кто жил тут по доброй воле.

Пётр служил третий год.

Из дозоров он возвращался с добычей: то конь, то два, то шкуры, то соль. Марье привозил гостинцы — ленту алую, пряников тульских, а однажды серебряную монету польскую, диковинную, с чужим человеком в латах на одной стороне.

— На крестины пригодится, — сказал он, кладя её на стол.

Марья взяла и не спросила, откуда. Казак не любит лишних вопросов, и жена его тоже.

К той весне она была уже на сносях и переехала к мужу, в избу за острогом.

• • •

Весной сорок шестого года, в апреле, из Шацка пришёл гонец.

Он привёз воеводскую грамоту, в которой сообщалось, что ногойцы собираются, что их много и что идут они к Керенке; предписывалось усилить караулы и высылать дозоры дальше в степь.

Писарь прочёл грамоту вслух. Пётр выслушал и кивнул.

— Понятно, — сказал он. — Готовьтесь.

Это была, между прочим, обыкновенная грамота. Такие приходили каждую весну, и каждую весну ногойцы либо приходили, либо не приходили, и в остроге к этому относились примерно так, как относятся к грозе: неприятно, но не повод менять уклад.

Ночью Пётр сидел у порога и точил саблю.

Марья лежала в темноте и слушала звук — ровный, скребущий, домашний. Ей оставалось недели три, может, две. Она думала о том, что если родится сын, назовут Андреем, а

если дочь — Аграфеной, и что надо бы напомнить мужу про ленту, потому что старая совсем истрепалась.

О том, что произойдёт послезавтра, она не думала.

Никто не думал. В этом и заключается вся хитрость: беда никогда не приходит к тем, кто её ждёт, — она предпочитает являться к людям, занятым лентами.

• • •

Ногайцы пришли на рассвете и пошли не на острог, а на слободу.

Они въехали в неё верхом, жгли избы, гнали скот и хватали тех, кто не успел добежать до ворот. Из острога смотрели и не могли помочь: людей было мало, а воевода не решился открыть ворота, и в этом, надо сказать по совести, он был прав, ибо открыть их значило потерять всё.

Пётр стоял на валу и видел, как горит его собственная изба.

Он видел, как ногайцы гонят его коня. Видел, как молодой, с красным платком на голове, остановился у колодца, напился и засмеялся чему-то, что сказал ему товарищ.

Он ничего не почувствовал.

Это его удивило. Он потом, стоя на том же валу и ожидая второго приступа, несколько раз возвращался к этому мысленно и пробовал разбудить в себе злость, как будят задремавшую собаку, — и не сумел. Внутри было пусто, ровно и деловито.

Марью успели вывести раньше. Она шла к воротам медленно, держа руку на животе, и лицо у неё было спокойное, только губы дрожали.

Женщин и детей загнали в церковь.

• • •

К вечеру ногайцы ушли — не все: часть осталась стеречь добычу. Разведка вернулась и доложила, что слобода сожжена, многие погибли, многих увели.

Ночью в степи горели костры. Их было много, и по числу костров выходило, что завтра будет то, чего в остроге не было ни разу за десять лет.

— Завтра пойдут, — сказал Фрол, стоя рядом с Петром на валу.

— Пойдут, — согласился Пётр.

— Доживём?

— Доживём.

Он сказал это тем же тоном, каким говорил жене, и, вероятно, сам себе поверил, потому что человек, произносящий вслух «доживём», всегда немного себе верит; иначе бы он этого не произносил.

В церкви всю ночь читал молитву отец Савва — старик с реденькой бородой и слабым голосом, которого в слободе не то чтобы уважали, а скорее терпели за безобидность. В ту ночь он читал восемь часов подряд и ни разу не сбился, и после этого его стали уважать.

Марья сидела на лавке у стены и слушала. Вокруг плакали дети, молились бабы, бранились мужики, где-то в углу тошнило старуху.

Она закрыла глаза и стала думать о Петре: где он, жив ли, вернётся ли.

Он был в это время на валу и был ещё жив.

• • •

Утром они пришли.

Они не стали ждать и не стали кружить — пришли прямо, с криком, с луками наготове, потому что поняли: острог слаб, караул мал, а воевода уже показал вчера, что не решается.

— К воротам! — крикнул Фрол.

Стрелять было некогда: ногайцы уже лезли через частокол, цеплялись за брёвна, рубили топорами. Пётр взял саблю.

Первого он ссёк, едва тот перевалился через частокол. Второго тоже. Третьего.

Их было много, а рук у него было две — обстоятельство, о котором в песнях обыкновенно умалчивают, хотя именно оно решает исход всякого боя.

Стрела вошла ему в горло сбоку, чуть выше ключицы.

Он не упал сразу. Он ещё сделал полшага вперёд, к четвёртому, и даже занёс саблю, и четвёртый, увидев это, шарахнулся назад — так что последнее, что успел сделать в жизни Пётр из Шацка, было всё-таки полезное дело: он напугал человека.

Потом он сел на землю, привалившись спиной к частоколу.

Небо над ним было ясное, апрельское, промытое.

Он подумал: «Доживу».

И, надо полагать, остался при этом мнении, потому что больше он ничего не думал.

• • •

В церкви в это самое время у Марьи отошли воды.

Её положили на лавку, откуда согнали двух старух, и бабы обступили её кругом, а отец Савва повернулся лицом к алтарю и стал читать громче, потому что за стеной шёл бой, и его надо было чем-то перекрыть.

Она рожала четыре часа.

О том, как это было, рассказывать не будем — во-первых, всякий, кто видел, знает и без нас, а во-вторых, снаружи в это время убивали людей, и не совсем ясно, о чём именно тут следовало бы рассказывать.

Отметим только одно обстоятельство.

Марья не кричала.

Это заметили все и потом вспоминали годами, и мнения на сей счёт разделились: одни говорили, что она берегла силы, другие — что боялась накликать ногайцев, третьи — что уже знала про мужа, хотя знать не могла никак.

Первый закричал около полудня.

Второго не ждали вовсе, и потому, когда он пошёл следом, бабы растерялись, и старуха, принимавшая, сказала вслух — с досадой, будто её обсчитали:

— Да что ж это?

— Мальчики, — сказала другая, державшая первого. — Оба мальчики.

Марья приподняла голову. Протянула руку, коснулась головы одного — мягкие волосы, тёплая кожа. Потом другого. То же самое.

Совершенно то же самое.

— Как назовёшь? — спросил отец Савва, подходя.

Она молчала долго. Потом сказала:

— Андрей. И Казма.

Отец Савва кивнул и перекрестил младенцев, и начал читать молитву крещения — не потому, что так полагалось по чину, а потому, что за стеной всё ещё стреляли, и он не был уверен, что успеет после.

— Живы, — сказала Марья тихо.

За окном светлело.

Мужа у неё уже не было, избы не было, слободы не было. Была лавка, чужой платок под головой и два одинаковых свёртка на полотенцах.

И вот из этого, любезный читатель, — из лавки, платка и двух свёртков, — в дальнейшем и вышло всё остальное.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Баоэр

Человека, который заставил меня написать эту книгу, звали Пол Баоэр Чэнь, и в тот год ему было семьдесят три года.

Он плавал километр.

Я объявлял, что плаваю километр, и в действительности держался за бортик в дальнем углу бассейна отеля «Пулман», где не видно с шезлонгов, и дышал. Дыхание было теперь моей основной деятельностью; всё прочее я делал в промежутках. Мне было сорок девять.

Дважды в неделю я наблюдал, как семидесятирёхлетний человек ровно, без всплеска, без единого лишнего движения проходит двадцать раз туда и обратно, и думал о том, что мироустройство, при котором это возможно, следовало бы обжаловать, — но инстанции, куда подавать жалобу, я не знал, а вскоре и вовсе перестал искать.

— Ты вообще плаваешь или только в раздевалке сидишь? — спросил он, растирая голову полотенцем перед зеркалом.

— Плаваю. Просто ты быстрее выходишь.

Он повернулся, обмотал полотенце вокруг бёдер и сел рядом на скамью, и я в который раз отметил, что сложен он суше и лучше меня, и что кожа у него на плечах — старая, но натянутая, как на хорошем барабане.

От него пахло чем-то цитрусовым и, судя по запаху, дорогим. Пол пользовался правильной косметикой даже в бассейне, даже когда никто не видел, и в этом заключалась вся его философия, которую я за девять лет не сумел ни перенять, ни высмеять.

• • •

Про Пола необходимо рассказать, иначе дальнейшее непонятно.

Он родился в Шанхае в пятьдесят третьем году, и назвал его отец.

Отца звали Чэнь Юншэн, и он был человек в своём роде замечательный: с сорок первого по сорок девятый год он руководил одной из подпольных ячеек в Шанхае, дважды сидел, один раз бежал и всю жизнь считал себя человеком, которому очень повезло, — что, если вдуматься, чистая правда.

Когда у него родился сын, он назвал его Баоэр.

Тут надо пояснить, потому что русскому уху это ничего не говорит.

В пятидесятые годы в Китае была книга, которую читали примерно все и которую полагось любить, — «Как закалялась сталь». Героя её звали Павел Корчагин, а по-китайски — Баоэр Кэчацзинь. Мальчиков, названных в те годы Баоэр, по всему Китаю было, вероятно, несколько тысяч, и все они были названы в честь человека, который ослеп, слёг и всё-таки написал книгу.

Об этом обстоятельстве я тоже подумал впоследствии, лёжа в клинике на окраине Шанхая. Но подумал позже, чем следовало.

В восемьдесят седьмом Пол уехал в Штаты.

Он поступил на курсы, потом работал в трёх местах сразу, потом попал в кастинг и провёл в нём тридцать лет, и в Лос-Анджелесе его знали как человека, который умеет за одну встречу сказать про актёра то, что режиссёр поймёт только на третьей неделе съёмок. Мы познакомились в семнадцатом году на копродукции, которая развалилась через полгода по причинам, о которых до сих пор судятся; но люди, вместе пережившие развалившийся проект, сходятся крепче, чем люди, вместе снявшие удачный.

В Шанхай он прилетел не по делу.

Матери его в ноябре исполнилось девяносто девять лет.

• • •

— Слушай, — сказал он в тот вечер, — ты ведь не просто так тут торчишь каждый вечер. Что-то случилось?

И вот тут я должен признаться в вещи, которой не горжусь.

У меня в кармане халата лежал телефон, а в телефоне — заключение московской клиники, полученное три недели назад и состоявшее из одной строчки диагноза и одной строчки прогноза. Я мог протянуть руку и показать, и на этом всё бы кончилось.

Пол сделал бы что-нибудь. Он всегда что-нибудь делает: это единственный известный мне человек, который в ответ на чужую беду не сочувствует, а действует, — и именно поэтому счета за клинику, когда я уже не ходил, оплачивал он и ни разу об этом не заговорил.

Вместо этого я сказал:

— Я думаю о роде. О своей семье.

— О предках?

— О чём-то большем.

Я услышал собственный голос и слегка удивился его торжественности. Умирующие вообще склонны к торжественности, и это едва ли не самое неприятное, что в них есть.

— О том, как один грех раскалывает семью на поколения. Как кровь помнит то, что люди стараются забыть.

Пол кивнул и не стал торопить.

Он умел молчать в нужную секунду — качество, за которое я прощал ему очень многое, и, надо думать, он мне за то же самое прощал больше.

• • •

И я рассказал.

Про Керенский острог, где кончалась Россия и начиналось Дикое Поле. Про служилого человека, убитого стрелой в горло в апреле сорок шестого года, и про жену его, которая в это самое время рожала в церкви под чтение отца Саввы и родила двоих сразу.

— Близнецов?

— Близнецов. А через двадцать шесть лет один убил другого. Ножом, в лесу, у ручья.

— Из-за чего?

— Никто не знает. Он не сказал ни разу за тридцать один год.

Полотенце осталось лежать у Пола на коленях. Вода с волос капала на кафедру, и он этого не замечал, — а поскольку Пол замечает всё, включая недостающую пуговицу на чужом пиджаке за две минуты до проб, я понял, что попал.

— А мать?

— Мать спросила: «Где Андрей, брат твой?» А он ответил: «Разве я сторож брату моему?»

Пол откинулся к стене.

— Каин, — сказал он тихо.

— Почти. Только без голоса с неба. Никто ни о чём не спросил. Он женился, поставил дом, вырастил сына и умер в постели, причастившись, среди родни. На похоронах говорили, что покойник был человек тяжёлый, но справедливый.

— То есть ему ничего не было.

— Ему — ничего.

— А кому было?

Я посмотрел на свои руки. Они пахли хлоркой.

— Всем остальным, — сказал я. — Триста пятьдесят лет.

И добавил, потому что это шло следом и потому что при Поле мне почему-то было не стыдно:

— Мать отдала ему троих сыновей убитого. Сказала: теперь они твои, поднимешь всех. Вот и весь суд.

Пол долго молчал.

— Это не суд, — сказал он наконец. — Это епитимья.

• • •

Дальше произошло то, чего я обязан был предвидеть.

Он встал.

Он прошёл к своему шкафчику, достал телефон, и экран осветил его лицо снизу — сосредоточенное, деловое, ровно с тем выражением, с каким он когда-то за десять секунд объяснял мне, отчего один актёр стоит денег, а другой не стоит ничего.

— Игорь, — сказал он, не поднимая глаз. — Это материал.

— Что?

— Это готовый роман.

— Я не писатель.

— Ты рассказчик. Это другое и это редкость. — Он посмотрел на меня. — Ты сейчас за девять минут рассказал мне историю, от которой у меня мурашки по мокрой спине. Запиши. Просто запиши.

— И что дальше?

— Дальше — не твоё дело. Дальше моё.

Он всё-таки не удержался. Он ходил по раздевалке, и полотенце держалось на нём исключительно силой инерции, и он говорил, что это лежит в одну очень определённую сторону, что такие вещи снимают редко и всегда с надрывом, а тут не надо надрыва, тут само; что у него есть люди, а у людей есть люди; и что вообще, если по-честному, это надо показывать Гибсону.

— Кому?

— Мэлу. Он такое любит. Он в такое верит. — Пол остановился. — Ему шестьдесят с лишним, он снимает про мучеников, и он единственный, кто не побоится оставить в кадре священника, который не улыбается.

Я засмеялся.

Смеяться мне было нельзя: смех переходил в кашель, а кашель в последнее время имел привкус, о котором я предпочитал не думать. Но я всё-таки засмеялся — не потому, что было смешно, а потому, что не знал, что ещё с этим делать.

Потому что вот стоял передо мной семидесятирёхлетний человек в полотенце, и глаза у него горели, и он строил план на три года вперёд — год на текст, год на права, год на подготовку, — и всё это было совершенно разумно и совершенно выполнимо, и ни в одной точке не пересекалось с той цифрой, которую мне называли в Москве.

— Ты серьёзно?

— Я в этом бизнесе тридцать лет, — сказал Пол. — Я перестал быть несерьёзным примерно тогда же, когда перестал быть бедным.

• • •

Одеваясь, он сказал ещё одну вещь, между делом, застёгивая рубашку.

— Ты, кстати, знаешь, что меня зовут как святого?

— В смысле?

— В прямом. — Он пожал плечами. — Отец называл меня Баоэр, в честь вашего Корчагина. Он был коммунист, он не мог знать. А Баоэр — это по-китайски Павел. Апостол. Меня крестили в шестьдесят два года в Лос-Анджелесе, и священник сказал: имя менять не нужно, вы уже с ним пришли.

Он взял пиджак.

— Отец бы очень рассердился, — сказал Пол и засмеялся.

И это было всё.

Он не сделал из этого ни выводов, ни притчи, и, по-моему, вообще рассказал только потому, что дошёл до второй пуговицы и надо было чем-то занять паузу. Мы вышли, он показал

мне парк Юйшань, где действительно тихо и можно думать, и на прощание сказал, что улетает завтра к матери в Хунцяо и вернётся в четверг.

И только часа в два ночи, лёжа поверх покрывала в номере с видом на реку, я взял ноутбук.

• • •

Я искал недолго — теперь это занимает полторы минуты.

****Павел Чэнь Чанпин.**** Родился одиннадцатого апреля тысяча восемьсот тридцать восьмого года в провинции Гуйчжоу, в бедной семье, где о Христе не слыхали. Учился на средства благотворительного общества. Крещён на Рождество пятьдесят третьего года, приняв имя Павел. Семинарист.

Двенадцатого июня шестьдесят первого солдаты ворвались в семинарию. Его в то утро там не было: он вместе с товарищем ушёл на рынок за припасами и ничего не знал; их взяли на обратном пути, когда они шли домой и разговаривали.

Двадцать девятого июля тысяча восемьсот шестьдесят первого года его провели по улицам и обезглавили. Ему было двадцать три.

В девятьсот девятом его причислили к лику блаженных, в тысяча девятьсот двадцатом мощи перевезли в Париж, а первого октября двухтысячного года папа Иоанн Павел Второй причислил его к лику святых вместе со ста девятнадцатью другими.

Я дочитал и некоторое время сидел неподвижно.

Потом открыл вторую вкладку и перечитал то, что уже знал наизусть.

****Онисий.**** Мученик. Пострадал за исповедание веры во Христа. ****Усечён мечом.****

• • •

Я закрыл ноутбук.

Итак, подведём.

В восемьдесят втором году в городе Кемерове ребёнок пяти лет, некрещёный, не знавший ни единой молитвы, кричал по ночам, призывая на помощь мученика, которому отрубили голову.

В две тысячи двадцать шестом человек, велевший этому ребёнку — уже сорокадевятилетнему и уже умирающему — написать книгу, носил имя другого мученика, которому тоже отрубили голову; носил по воле отца-подпольщика, который в жизни не открывал Евангелия и был бы, по свидетельству сына, очень этим расстроен.

Расстояние между этими двумя обстоятельствами составляло сорок четыре года и восемь тысяч километров.

Никакого вывода из этого не следовало.

Я хочу подчеркнуть: не следовало. Совпадения именно тем и отличаются от знаков, что из них ничего не следует, и всякий, кто утверждает обратное, обыкновенно что-нибудь продаёт.

— Ты хочешь, чтобы я объяснил, — сказал Голос.

Я вздрогнул. Он не подавал признаков жизни трое суток.

— Нет, — сказал я. — На этот раз не хочу.

— Правильно.

И он замолчал так надолго, что я успел подумать, будто он ушёл совсем.

• • •

Пол улетел утром, как и обещал, и вернулся в четверг, и мы плавали ещё восемь раз.

Потом он улетел в Лос-Анджелес, потому что там были дела, а мать его чувствовала себя прилично и собиралась дожить до ноября, и он сказал, что вернётся через месяц.

Вернулся он через два, и я к тому времени уже не вставал.

Но это будет потом.

А в ту ночь, часа в три, я всё-таки открыл ноутбук снова, и там было пусто, и курсор ждал, и я сказал в тёмный экран то, с чего началась эта книга.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Где Андрей, брат твой?

Казма вышел на опушку, когда солнце уже клонилось к лесу.

Острог стоял перед ним — почерневшие от дождя брёвна, островерхая башня с дозорным помостом, за частоколом крест церкви, тёмный на сером небе. Он шёл медленно, волоча ноги. Грязь на сапогах засохла коркой. Подол рубахи слипся и потемнел, но темнело в тот год всё: и рубахи, и небо, и вода в Керенке, — так что человек, идущий к воротам в грязной одежде, не привлекал ничьего внимания.

У ворот стоял служилый в ржавом шишаке, опираясь на рогатину.

— Ты чей будешь?

Голос у Казмы сел. Он откашлялся.

— Марьин. Петров сын.

Сторож поглядел на него долго — так глядят на человека, которого узнали, но фамилию вспоминают, — и кивнул в сторону ворот.

— Проходи. Мать твоя в избе. Спрашивала у попадьи, не видал ли кто вас.

Казма прошёл внутрь.

Острог жил своей обыкновенной жизнью. У колодца бабы полоскали бельё. Двое мужиков волокли бревно к кузнице. Из-за угла доносился стук топора, ровный и добросовестный.

И вот от этого — от белья, от бревна, от топора — Казме сделалось по-настоящему тошно, впервые за весь день. Потому что там, у ручья, весь мир состоял из него, из брата и из дождя, а здесь выяснилось, что мир состоит из белья и бревна, и что убыло из него ровно одного человека, и что этой убыли никто пока не заметил.

Он шёл, не поднимая глаз, и чувствовал, как взгляды липнут к спине.

• • •

Изба стояла на краю, у самой стены. Дверь была приотворена.

Он толкнул её плечом и вошёл.

Марья сидела на лавке у окна, склонившись над зыбкой, и качала её носком ноги — не глядя, привычно, как качают то, что качают уже полгода.

Услышав шаги, она подняла голову.

Лицо её осунулось за эти дни. Волосы, обычно убранные под платок, выбились прядями и слиплись у висков. Она посмотрела на сына — и замерла.

Казма стоял у порога, не смея переступить. Глина с сапог сыпалась на пол.

— Казма? — Голос её дрогнул. — Один?

Он кивнул.

— Где Андрей?

Казма молчал. Руки сами собой сжались в кулаки, и ногти вошли в ладони, и он обрадовался этой боли, потому что она была хоть чем-то, что происходило сейчас.

— Казма. — Марья поднялась. Зыбка качнулась и остановилась. — Где брат твой?

— Не знаю, — сказал он.

Слово вышло глухим и чужим, будто его произнёс кто-то стоящий за спиной.

• • •

Она сделала шаг к нему.

Глаза её скользнули по рубахе, по засохшей глине на рукавах, по тёмным пятнам на подоле — и остановились там, где следовало остановиться, и Казма понял, что она увидела, и что она поняла, что он понял, что она увидела; и всё это заняло, вероятно, секунды две.

— Вы вместе ушли, — сказала она тихо. — После обедни. Вместе. Я видела.

— Разошлись.

— Где?

— В лесу.

— Зачем?

— Так вышло.

Она смотрела на него.

В её глазах шевельнулось что-то — не вопрос ещё, но уже и не доверие. Что-то тёмное и настороженное, как у зверя, почуявшего в знакомом запахе новую примесь.

— Казма, — сказала она. — Скажи мне. Где Андрей?

Он поднял голову.

И тут в нём прорвалось — не страх и не раскаяние, а упрямство, глухое и тяжёлое, как камень на дне реки; и с этим упрямством он произнёс те слова, которые ему предстояло вспоминать тридцать один год, до самой постели, до самого причастия:

— Разве я сторож брату моему?

• • •

Марья отшатнулась.

Она сделала шаг назад, потом ещё один, и рука её легла на край лавки, и пальцы вцепились в дерево, и дышала она часто и неглубоко, как после долгого бега.

— Что ты сказал? — прошептала она.

Казма молчал.

И в эту самую секунду, самую неудачную из всех возможных, дверь распахнулась, и в избу влетели двое.

Первым — Стёпка, семи лет, босой, с разбитой коленкой и с прутом в руке, потому что прут у него был всегда. За ним — Мишка, пяти, отставая на положенные два шага и запыхавшись, ибо угнаться за Стёпкой ещё ни разу никому не удавалось.

— Бабка! — заорал Стёпка с порога. — А Гришка Фролов говорит, что...

И осёкся, увидев Казму.

Оба остановились. Оба посмотрели.

Мишка первым делом заглянул Казме за спину — туда, в сени, в открытую дверь, где ничего не было, — и, не найдя там того, что искал, поднял глаза.

— Дядька Казма, — сказал он. — А тятя где?

• • •

Здесь необходимо кое-что пояснить, и пояснить коротко, потому что длинно об этом говорить нельзя.

У Андрея было три сына.

Жену его, Аксинью, схоронили о прошлое Рождество: она умерла, родив третьего, и третий — Афанасий, полугодовалый — лежал в эту минуту в зыбке у окна и, разбуженный криком Стёпки, начинал уже кряхтеть, предупреждая, что через полминуты заорёт. Мальчиков после смерти матери взяла к себе Марья, и Андрей приходил к ним всякий день, а по воскресеньям водил старших к обедне и держал за руки обоих сразу, потому что иначе Стёпка убегал.

У Казмы детей не было.

Он был не женат. Ему было двадцать шесть лет, и он жил в той же избе, и ел с той же лавки, и пахал ту же землю, и всякий вечер видел, как брат его входит в дверь, и как трое поднимают головы, и как самый маленький начинает сучить ногами при звуке его голоса.

Об этом больше не будет сказано ни слова.

• • •

— А тятя где? — повторил Мишка.

Казма открыл рот.

Он приготовил три ответа, и все три были хорошие, и он повторял их про себя, идя лесом, и ни разу не сбился. Разошлись в лесу. Где — не помню. Так вышло.

Сейчас ни один из них не годился.

Потому что взрослому человеку можно сказать «не знаю», и взрослый человек кивнёт, и уйдёт, и будет думать; а пятилетний не кивает и не уходит. Пятилетний стоит и ждёт ответа, и стоять он может очень долго, и в глазах у него нет ничего, кроме готовности поверить.

— Не знаю, Миша, — сказал Казма.

— А когда придёт?

— Не знаю.

Мишка подумал.

— А ты его поищи, — сказал он серьёзно.

В зыбке заорал Афанасий.

• • •

Марья подошла и взяла младенца на руки.

Она подняла его умело, одним движением, поддержав головку, и прижала к груди, и он немедленно замолчал, потому что был полугодовалый и знал уже, чьи это руки. Она стояла посреди избы, покачиваясь с носка на пятку, и смотрела на Казму поверх головы ребёнка.

И в глазах её больше не было вопроса.

Не было мольбы. Не было надежды. Было знание — не всё, не до конца, но достаточное: достаточное, чтобы доверие умерло; достаточное, чтобы между ними лёг тонкий, как лёд на луже, и прочный, как стена, слой того, чего не назовёшь вслух.

— Стёпа, — сказала она, не отводя глаз от Казмы. — Возьми Мишку, идите к попадье. Скажи, я после приду.

— А чего...

— Иди.

Стёпка посмотрел на бабушку, потом на дядьку, и что-то, вероятно, увидел, потому что взял брата за руку и вышел молча — впервые, надо думать, в жизни.

Дверь затворилась.

• • •

— Ешь, — сказала Марья. — Хлеб в углу.

Казма не ответил.

Она повернулась к печи, вынула из золы горшок, налила в миску похлёбки, поставила на стол и положила рядом краюху. Потом села на лавку, всё так же держа Афанасия.

Казма смотрел на миску.

От похлёбки поднимался тонкий бледный пар. Живот у него скрутило от голода — он не ел со вчерашнего, — но встать он не мог. Не мог протянуть руку. Не мог сделать вид, будто всё как прежде, потому что сделать такой вид означало бы, что всё и вправду как прежде, а этого он вынести не умел.

— Ешь, — повторила мать. Голос был ровный. — Силы понадобятся.

Тогда он встал.

Подошёл. Сел. Взял хлеб, отломил, положил в миску. Ел медленно, не чувствуя вкуса. Похлёбка была солёная, густая, с крупой и капустой, и он ел, глядя в миску, и слышал, как за спиной у него дышит спящий ребёнок его брата.

Так прошёл вечер.

• • •

Ночью он спал на полу у печи, не раздеваясь.

Марья не ложилась. Она сидела на лавке, глядя в темноту, и раза три вставала, подходила к зыбке, поправляла пелёнку и садилась обратно.

Нож был у него за пазухой. Он не вынул его и не тронул. Он лежал на боку, лицом к печи, и чувствовал только холодное и тяжёлое у рёбер, и думал о том, что завтра надо будет пойти в лес и закопать, и что закапывать придётся глубоко, и что земля после дождя пойдёт тяжело.

Утром серый свет пробился сквозь щели.

Казма открыл глаза. Марья сидела на том же месте и в той же позе, и лицо её за ночь не изменилось — ни усталости на нём, ни сна, только та же тяжёлая определённая.

Она повернула голову.

— Я не знаю, что случилось с Андреем, — сказала она. Голос был ровным, без дрожи.
— Но я знаю, что ты знаешь.

Казма не шевельнулся.

— И я знаю, — продолжала Марья, — что ты не скажешь.

Она замолчала.

В избе было тихо. Только дыхание младенца в зыбке да потрескивание остывшей лучины.

• • •

Потом она встала.

Подошла к зыбке, наклонилась и подняла Афанасия — так же умело, одним движением, — и пошла через избу к столу, где сидел её сын.

И протянула ему ребёнка.

Казма не понял. Он посмотрел на неё снизу вверх, потом на свёрток у неё в руках, потом опять на неё.

— Держи, — сказала Марья.

— Мать...

— Держи.

И он взял.

Он взял его неловко, как берут все, кто не брал никогда, — под спину и под ноги, слишком крепко, боясь уронить, — и Афанасий, не просыпаясь, шевельнул губами и уткнулся ему в грудь, в ту самую рубаху, которую следовало сжечь и которую Казма не сжёг.

— Теперь они твои, — сказала Марья.

Казма поднял голову.

— Трое, — сказала она. — Стёпка, Мишка и этот. Отца у них нет. Ты им дядька, ты в избе один мужик. Значит, твои.

Он смотрел на неё и молчал.

— Ты их поднимешь, — сказала Марья. — Всех троих. Оженишь. Дома им поставишь. И ежели у тебя свои будут — эти всё равно первые.

Она села обратно на лавку.

— Вот и весь мой суд, — сказала она. — Другого не будет.

• • •

И другого не было.

Ни в тот день, ни в следующий, ни через год, ни через тридцать: Марья не спросила больше ни разу, никому ничего не сказала и умерла девять лет спустя, соборовавшись, и на исповеди своей, надо полагать, тоже промолчала, ибо чужой грех на исповеди не сказывают, а своего за ней не было — кроме, разве, того, что она предпочла молчание правде, но об этом Бог с ней разберётся без нас.

Казма поднял всех троих.

Он женил Стёпку в девяносто первом, Мишку в девяносто четвёртом, а Афанасию, самому младшему, поставил дом уже на новом месте, в Рахмановке, куда род перебрался при царе Петре. Своих детей у него был один — Григорий, родившийся поздно, когда племянники уже ходили в мужиках.

Так и вышло, что от убитого пошли трое, а от убийцы — один.

И линия, о которой пойдёт речь дальше — та, что через двести лет приведёт к клиросу деревянной церкви, к человеку с негромким плотным голосом, к иконе за пазухой и к сугробам тридцать седьмого года, — есть линия узкая, единственная, державшаяся всё это время на одном сыне в каждом поколении и оборвавшаяся бы от любого пустяка.

Она не оборвалась.

Об этом стоит подумать отдельно, и я думал об этом много, лёжа в Шанхае и глядя в потолок; но никакого утешительного вывода не нашёл.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Долгая жизнь Казмы

Нож он закопал на третий день, и закопал плохо.

Он выбрал место в двух верстах от острога, под выворотнем, где земля после дождя шла тяжело и липла к лопате, и рыл долго, до пота, и опустил его в яму, завернув в тряпицу, будто хоронил. Потом засыпал, притоптал, набросал сверху хвои — и, отойдя шагов на двадцать, обернулся и увидел, что место видно.

Оно было видно за версту: свежая земля посреди прошлогоднего листа.

Он вернулся и стал разбрасывать её руками, и разравнивал, и таскал листву охапками, и провозился до темноты, и в конце концов сделал так, что не видно стало.

Об этой яме он думал потом тридцать один год.

Не о брате — о яме. Брат являлся редко и как-то отвлечённо, а яма — постоянно: всякую весну, когда сходил снег, ему делалось не по себе, и он находил повод пройти лесом мимо, и всякий раз убеждался, что всё в порядке, и всякий раз шёл обратно с чувством, будто его помиловали на год.

• • •

Про эти тридцать один год надо сказать сразу и без околичностей: они были хорошие.

Я сознаю, как это звучит. Мне и самому хотелось бы написать иначе — что он спился, что дети его умирали, что скотина падала, что односельчане отворачивались. Так было бы поучительно.

Но он их поднял.

Стёпку оженili в девяносто первом, взяв за него дочь кузнеца с приданым; Мишку — в девяносто четвёртом; Афанасию, младшему, Казма ставил дом уже сам, своими руками, на новом месте в Рахмановке, куда род перебрался при царе Петре, когда керенские земли начали делить и служилым стало тесно.

Он был мужик работающий и до денег не жадный, что в деревне ценится выше набожности. Он никого не обидел, ни с кем не судился и дважды кормил чужих детей в голодный год.

К нему ходили советоваться.

Вот этого я, честно говоря, не могу переварить до сих пор: к человеку, зарезавшему брата, ходили советоваться, и он советовал хорошо — вдумчиво, неспешно, без охоты быть правым, — и советы его сбывались, и это, надо думать, оттого, что человек, знающий про себя самое худшее, редко ошибается насчёт других.

• • •

Хуже всего было со Стёпкой.

Мальчик рос и годам к пятнадцати стал похож на отца — не сразу, не вдруг, а тем медленным и неотменимым способом, каким проступает лицо на иконе, когда с неё снимают копоть: сперва разрез глаз, потом посадка головы, потом манера, задумавшись, тереть переносицу большим пальцем.

Казма увидел этот палец у переносицы однажды за ужином и вышел из-за стола.

Дальше пошло уже без остановки. К двадцати годам Стёпка ходил, как ходил Андрей, — чуть косолапо, с носка; смеялся, как смеялся Андрей, — коротко, будто спохватываясь; и однажды в поле, разогнувшись и утирая лоб, сказал ту самую фразу, которую отец его говорил всякий раз в этом самом месте работы:

— Ну, помолясь.

Казма стоял к нему спиной и ничего не ответил.

Так он прожил рядом с лицом брата двадцать пять лет. И вот это, если угодно, и был весь приговор — не суд, не кара, не гром с неба, а племянник за столом, который трёт переносицу большим пальцем.

• • •

Марья умерла через девять лет, в марте.

Она болела недолго, дней десять, и в последний день послала за священником, и исповедалась, и причастилась, и попросила всех выйти.

Казма вышел вместе со всеми и стоял в сенях.

Он думал, что она позовёт. Он был совершенно уверен, что она позовёт: последний час затем и дан человеку, чтобы сказать то, чего нельзя было сказать раньше, и он даже приготовил лицо — не слова, слов у него не было, а именно лицо, с которым выслушивают.

Она не позвала.

Она умерла к вечеру, тихо, при снохах, и последнее, что сказала, относилось к тесту, которое кто-то поставил и забыл.

Через год Казма женился.

Взял Аграфену, вдову из Ченгара, женщину тихую и не первой молодости, и прожил с нею двадцать один год, и она родила ему одного сына, Григория, поздно — когда племянники уже ходили в мужиках и у Стёпки было своих трое.

Один сын на четверых мальчишек в доме.

Об этой арифметике в семье не говорили. Но она была.

• • •

Умирал Казма в Рахмановке, зимой, пятидесяти семи лет от роду, и умирал долго — с осени.

Изба к тому времени была большая, тёплая, с полатами, и на этих полатах он и лежал, и над ним висела на верёвке пелена, чтобы не дуло, и ходили за ним по очереди Аграфена и жена Афанасия.

В начале декабря он попросил позвать попа.

Поп пришёл — молодой, недавно поставленный, с плохо ещё лежащей бородой, — и исповедал, и Казма говорил долго, и поп слушал, и потом вышел с лицом человека, который выслушал длинный, обстоятельный и совершенно обыкновенный список: гневался, ленился, желал чужого, в посты ел скоромное по немощи.

О брате не было сказано ничего.

Причастился он на другой день, и лежал после спокойно, и говорили, что вот, слава Богу, отходит по-христиански.

А в ночь на четвёртое он открыл глаза и позвал Афанасия.

• • •

Не сына. Афанасия.

Тот пришёл — тридцати одного года, тяжёлый, бородатый, в накинутом тулупе, — сел на край и наклонился, потому что дядька говорил уже плохо.

— Афоня, — сказал Казма.

— Тут я.

Казма помолчал.

Потом сказал — совершенно внятно, ровно, будто сообщал о хозяйственном деле, которое давно следовало уладить:

— Я отца твоего убил.

Афанасий не пошевелился.

— В лесу, у ручья, под Керенском. Ножом. Тело в воду спустил, следы замазал. Мать знала.

Стало очень тихо. В избе трещала лучина, и за печкой возился кто-то из детей, кому не спалось.

— Нож там же лежит, — сказал Казма. — Под выворотнем, от старой засеки на полдень, шагов триста. Ежели пойдёшь — найдёшь.

И замолчал.

Афанасий сидел, положив руки на колени, и смотрел не на дядьку, а на свои руки, которыми дядька его нянчил, кормил, учил тесать и держал над купелью его первенца.

— Пить хочешь? — спросил он наконец.

— Хочу.

Он подал ковш, придержал голову, дал напиться и отёр ему подбородок рукавом.

Потом сказал:

— Спи, дядька.

И вышел.

• • •

Никуда он, разумеется, не пошёл.

Он не пошёл ни в тот год, ни через десять лет; он вообще ни разу в жизни не ходил больше в ту сторону и, надо полагать, обходил её нарочно, — но и забыть не сумел, потому что это не забывается, и потому, дожив до старости, рассказал сыну.

Тот рассказал своему.

И дальше это пошло по роду тем способом, каким передаются вещи такого рода: не преданием, не рассказом за столом, а коротким сообщением, которое взрослый делает взрослому один раз в жизни, вполголоса, обыкновенно на похоронах, и после которого оба долго молчат и переходят к другому.

Так оно и дошло — через одиннадцать поколений — до мальчика в Рахмановке, который стоял на клиросе и не понимал половины слов; а от него, ещё через сто с лишним лет, до человека, лежавшего в шанхайской гостинице с ноутбуком на коленях.

Причём дошло, заметьте, в исправном виде.

Испортилась только одна деталь: со временем стали говорить, что убил он брата тесаком. Тесак — слово позднее и красивое, оно нравится рассказчикам.

Нож был проще.

• • •

Казма Петров сын умер шестого декабря тысяча семьсот третьего года, на память святого Николая, и был отпет и погребён при церкви в Рахмановке.

Народу пришло много.

Говорили, что покойник был человек тяжёлый, но справедливый; что племянников поднял, как своих, а иные говорили — что лучше своих; что в голодный год кормил чужих; и что таких мужиков теперь мало.

И всё это, между прочим, была чистая правда.

Никакой другой правды на его похоронах никто не сказал, включая Афанасия, который стоял справа от гроба, держал за плечо старшего сына и подпевал, где положено.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГОЛОС

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Метрика

Пол улетел в Лос-Анджелес в конце апреля, и я остался в номере один, с ноутбуком, тремя вкладками браузера и смутным ощущением, что взялся за дело, которое давно следовало сделать и которое теперь придётся делать быстро.

Начал я, как всякий дилетант, с конца.

То есть с себя.

Игорь Владимирович Шачнев, тысяча девятьсот семьдесят седьмого года рождения. Отец — Владимир Сергеевич, офицер, умер в две тысячи шестнадцатом. Дед — Сергей Фёдорович, ветеран, умер, когда мне было двенадцать. Дальше начиналась темнота, в которой я знал ровно одно имя — прадеда Фёдора, — и знал его лишь потому, что оно стояло в отчестве деда.

Четыре поколения. На этом моя память о собственном роде заканчивалась.

Про Керенский острог я узнал в сорок восемь лет от двоюродного брата Сергея, которому не звонил полгода и которому не позвонил после.

• • •

Оцифрованные метрические книги Пензенской губернии выложены в сеть, и это, я считаю, одно из немногих бесспорных достижений моего времени.

Я нашёл храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рахмановка. Открылся список годов: тысяча восемьсот семидесятый, семьдесят первый, семьдесят второй.

Я открыл семьдесят третий.

Скан был серый, в пятнах — влага, время, чьи-то пальцы, перелистывавшие эти страницы сто лет назад. Почерк дьякона был мелкий, с нажимом, буквы плясали, и я разбирал их минут двадцать, шевеля губами, как первоклассник.

«Двадцать седьмого сентября. У казённого крестьянина Игната Федотова Шачнева и законной жены его Анны Павловой родился сын, наречённый Иваном. Крещён тридцатого сентября. Восприемники: казённый крестьянин Семён Федотов Шачнев и крестьянская девица Фекла Павлова Шачнева».

Я перечитал три раза.

Игнат. Анна. Семён. Фекла. Четыре человека, стоявшие вокруг купели тридцатого сентября тысяча восемьсот семьдесят третьего года, — и один младенец, о котором никто из них ещё ничего не знал.

Мой прапрадед.

Будущий Регент.

• • •

Дальше пошло легче, потому что рука дьякона стала привычной.

Тысяча восемьсот девяносто восьмой, март: «Марта двенадцатого дня. У крестьянина Ивана Игнатьевича Шачнева и законной жены его Марфы Тимофеевны родилась дочь, наречённая Ириной».

Ирина.

Сестра моего прадеда — та самая, что через двадцать три года уедет в Харбин, через войну и через революцию, и умрёт в чужом городе среди чужих людей. А здесь, в этой строке, она пока просто младенец женского пола, и истории до неё ещё нет никакого дела.

Тысяча девятьсот шестнадцатый, январь: «Января четырнадцатого дня. Крещён младенец Иван. Родители: крестьянин Дмитрий Петров Шачнев и законная жена его Ирина Ивановна Шачнева. Восприемники: крестьянин села Рахмановка Фёдор Иванович Шачнев и крестьянская девица Анастасия Ивановна Шачнева».

Я остановился.

Восприемники — Фёдор и Анастасия, родные брат и сестра роженицы. Мой прадед держал над купелью племянника.

А племянник этот, Иван Дмитриевич, переживёт революцию, уйдёт с матерью в Харбин, станет там священником, переберётся в Бразилию, потом в Детройт, потом в Сан-Франциско и умрёт в девяносто четвёртом году, когда мне будет семнадцать.

В девяносто третьем я прилетал в Нью-Йорк.

Он ждал на другом берегу, в Сан-Франциско, и, как выяснилось впоследствии, ждал именно меня, и не дождался, и никто из нас двоих об этом не знал.

Расстояние между нами составляло четыре тысячи километров и одну фамилию.

• • •

Тогда я решил идти назад.

Тысяча восемьсот пятьдесят. Тысяча восемьсот сорок. Игнат Федотов нашёлся быстро — родился в тридцать восьмом, у крестьянина Федота Иванова Шачнева. Федот нашёлся в четырнадцатом. Ещё дальше книги делались реже, чернила бледнее, а к концу восемнадцатого века кончились вовсе: в Рахмановке первая церковь сгорела, и всё, что до неё, сгорело вместе с нею.

Я сидел и смотрел на пустой список годов.

Ниже начиналась темнота глубиной в двести лет — от Григория, сына Казмы, родившегося где-то в конце семнадцатого века, до Федота Иванова, родившегося в тысяча восемьсот четырнадцатом.

Восемь поколений. Может, девять.

Ни одного имени.

— Их нет, — сказал я вслух.

— Они есть, — сказал Голос. — Их не записали.

— Какая разница?

— Никакой, — сказал он. — В этом всё и дело.

• • •

Я закрыл ноутбук и некоторое время сидел в темноте.

Мысль, которая пришла мне тогда, была простая и оттого неприятная. Человек существует ровно настолько, насколько его кто-то записал. Восемь поколений моих прямых предков пахали, рожали, хоронили, ссорились и умирали в одной и той же деревне на протяжении двухсот лет, и о них не осталось ничего — ни строки, ни креста, ни имени, — потому что церковь сгорела, а больше их записывать было некому.

Из всей этой темноты до нас дошло ровно одно сообщение.

Не имя, не год, не могила — сообщение: что был человек, который убил брата и не сказался. Оно прошло восемь неписанных поколений и не испортилось, если не считать тесака.

Из чего следует, что род помнит не то, что важно, а то, чего не может переварить.

— Ты хочешь спросить, — сказал Голос.

— Хочу.

— Спрашивай.

— Кто-нибудь за них молился?

Голос помолчал дольше обыкновенного.

— Да, — сказал он. — Один человек. Сорок лет подряд. Ты как раз его нашёл.

• • •

Я открыл ноутбук снова.

Пахло гостиницей — синтетическим освежителем и старой пылью, — и за окном стоял Шанхай, и в груди у меня было тесно, и я сидел, положив пальцы на клавиатуру, и не знал, с чего начать.

— Начни с того, что знаешь, — сказал Голос. — Имя. Год. Место.

Я написал: «Иван Игнатьевич Шачнев родился в 1873 году».

Стёр.

Написал: «Регентом его называли потом. А тогда он был просто Ваня».

Стёр.

— Не так, — сказал Голос.

— А как?

— Ты ищешь факты. Факты — это защита. Тебе не нужна защита, тебе нужен он.

— Я его никогда не видел.

— Ты слышал его голос, — сказал Голос. — Тебе было пять лет, и ты кричал в темноту чужую молитву. Откуда, по-твоему, она взялась?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.